

#### 4.2. «Партизанская война русской литературы»

**«Партизанские наезды» в чужой лагерь.** Обратимся к той сфере «ответной рецепции», которая воплощена в печатных текстах. Очевидно, что если российские литераторы отвечали своим западным оппонентам, то они должны были заботиться о том, чтобы эти «ответы» достигали адресатов. Для этого, конечно, можно было опубликовать «ответ» и в России в той надежде, что рано или поздно (возможно — в переводе, возможно — в пересказе) текст «ответа» достигнет-таки французского автора и его соотечественников. Однако, понятно, что гораздо действеннее опубликовать ответ на языке писателя-оппонента, да еще и в пределах его собственной родины. Но здесь-то перед авторами «ответной рецепции» возникали недюжинные препятствия, которые требовали тактических решений и комбинаций, вполне заслуживающих специального рассмотрения.

Как известно, при всей строгости николаевской цензуры ее отличало отсутствие детально регламентированного порядка. И если для российской печати цензура нередко играла роль судьи, который руководствуется не законом, а мнениями и настроениями отдельных представителей власти, то по отношению к русским публикациям за рубежом она вовсе не имела представлений о своей собственной роли. По идее, русские литераторы должны были предоставлять в цензуру любое свое произведение, предназначенное для печати. На деле же оказывалось, что в Европе русские подданные печатали свои сочинения зачастую без всякого согласования с русским правительством. III Отделение, как правило, реагировало на эти факты лишь тогда, когда публикации вредили престижу российской власти. Так, А. Демидову было предложено прекратить публикацию «Писем о России», которые он помещал в «*Journal des Débats*» в 1838–1839 гг., а П. Долгоруков за книгу о российском дворянстве был, как помним, вообще вытребован из Франции в Россию. Официальную позицию в подобных вопросах наиболее откровенно сформулировал парижский агент III Отделения Я. Толстой. В 1842 г. он разъяснял И. Головину, задумавшему издать книгу во Франции: «Если ваша книга будет против России, вас станут преследовать; коли ни то, ни се — будут смотреть сквозь пальцы, а если она будет в пользу России — то вас могут наградить» [278, с. 557]. Головин после такого разъяснения положился на удачу, издал-таки книгу, был вызван за это в Россию, отказался ехать и стал эмигрантом. Однако

возможность печататься в обход цензуры (и при этом не компрометировать себя в глазах правительства) оставалась заманчивой перспективой для многих русских писателей. Так, например, Ф. И. Тютчев, начиная с 1844 г. опубликовал за границей четыре статьи, две из которых («Россия и Революция», «Папство и Римский вопрос») вызвали живейшую полемику. Правда, «Россия и Революция» публиковалась с одобрения императора, мелочных цензурных придинок она избежала. При этом Лэйн доказывает, что заграничные публикации давали возможность Тютчеву, уволенному с дипломатической службы «из-за полного пренебрежения к обязанностям», «достигнуть реабилитации во мнении правящих кругов» [293, с. 249]. Особенных привилегий за свои статьи Тютчев, правда, не приобрел, но и преследованиям не подвергался. Во всяком случае, когда у М. П. Погодина возникли затруднения с публикацией «историко-политических писем», составленных в период Крымской войны, Тютчев почти открыто рекомендовал ему издать «письма» за границей. «Сказать ли вам, чего бы я желал? — писал Тютчев Погодину 13 октября 1857 г. — Мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь добрый или даже недобрый человек — *без вашего согласия и даже без вашего ведома* издал бы эти письма так, как они есть, — за границую... <...> Вообще, мы до сих пор не умеем пользоваться, как бы следовало, русскими заграничными *книгопечатнями*, а в нынешнем положении дел это орудие *необходимое*» [522, с. 423]. В конце концов Тютчев оказался прав: Погодин не получил разрешения на публикацию своих писем в России и был вынужден опубликовать их в 1860–1861 гг. в Лейпциге.

Восстановим еще такой историко-литературный сюжет. А. С. Хомяков в конце 1840-х – начале 1850-х гг. из-за цензурного давления практически потерял возможность видеть свои сочинения опубликованными, а в 1852 г. постановлением Дубельта ему официально было запрещено «даже и представлять к печатанию свои сочинения» [248, с. 389]. Тогда, по-видимому, вдохновленный примером Тютчева, Хомяков решил выступить в европейской печати, втянувшись в жаркую полемику по поводу статьи Тютчева «Папство и Римский вопрос», опубликованной в известном «Revue des Deux Mondes» в 1851 г. В 1853 г. в Париже на французском языке появилась брошюра Хомякова «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси». Книга имела подпись «Неизвестный» («Ignotus»).

Автор сразу оговаривался, что не станет касаться политических вопросов. «Единственная моя цель, — заявлял он, — оправдать церковь от странных обвинений, возводимых на нее г. Лоранси, и потому я не преступлю пределов вопроса религиозного» [546, с. 28]. Этой формулировке предпослано значимое разъяснение: «Когда возводится клевета на целую страну, граждане этой страны имеют право за нее заступиться; но столько же они имеют право и промолчать, предоставив времени оправдание их отечества. <...> Тем более что в лице своего правительства и официальных своих представителей каждая страна пользуется защитой власти, на которой лежит обязанность блюсти ее достоинство и оборонять ее интересы. Иное дело в области веры или Церкви. <...> Церковь ни одному из чад своих не разрешает молчания перед клеветой, против нее направленною <...>» [546, с. 27]. Ясно, что это разъяснение может быть столь же рассчитано на французского читателя, сколько и на российские власти, в случае если инкогнито автора будет раскрыто и воспоследует вопрос, почему Хомяков решился нарушить запрет публиковать свои сочинения.

В 1855 г. Хомяков опубликовал в Германии еще одну брошюру, продолжавшую рассуждение о противоречиях католицизма и православия, «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу одного окружного послания Парижского архиепископа». Это был ответ на призыв архиепископа де Сибура к католикам в период Восточной войны — идти в «крестовый поход» против православных. Брошюра снова была подписана — «Неизвестный». Конечно, напрашивается однозначный вывод, что Хомяков всячески стремится скрыть свое авторство, поскольку нарушает правительственный запрет выступать в печати. Однако при внимательном взгляде картина оказывается не столь уж однозначной.

Барсуковым опубликованы некоторые материалы, касающиеся заграничных брошюр Хомякова. Оказывается, не только они сами были известны при российском дворе, но и имя их автора не составляло тайны. Вторая брошюра весьма заинтересовала императрицу Марию Александровну, и по ее поручению В. Д. Олсуфьев направил Хомякову 17 мая 1855 г. следующую записку: «Государыня императрица, узнав, что вы написали продолжение сочинения вашего «*Quelques mots d'un Chrétien Orthodoxe*»<sup>1</sup>, желает

---

<sup>1</sup> «Несколько слов православного христианина».

прочитать оное. Почему и обращаюсь к вам с просьбою прислать мне вашу рукопись для представления ее величеству. Ей угодно было приказать сообщить вам, что покойный государь император с удовольствием читал вышеуказанное сочинение и остался им доволен» [45, кн. 14, с. 291]. Для Хомякова подобный оборот означал одно: его труды оценены русской властью, а значит, в отношении его «провинности» будет применено правило — победителя не судят. Заметим также, что к моменту выхода второй брошюры имя автора уже было известно при дворе.

К слову, о благожелательном отзыве императора Хомяков знал и ранее. В письме к Кошелеву он указывает на некий источник, из которого ему были известны слова Николая I о книге: «Dans ce qu'il dit de l'Eglise il est très libéral; mais dans ce qu'il dit de ses rapports avec l'autorité temporelle il a parfaitement raison, et je suis de son avis»<sup>2</sup> [45, кн. 14, с. 291]. Успех брошюры Хомякова при дворе не был минутным. 29 июня 1855 г. он снова получает письмо от Олсуфьева: «Государыня императрица Мария Александровна повелеть мне соизволила препроводить к вам немецкий перевод книги вашей, по воле великой княгини Ольги Николаевны сделанный нашим стутгардским священником <...>. Вам, вероятно, не безынтересны распри западной церкви о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. Посылаю от себя для прочтения протест аббата Лаборда против сего нового догмата» [45, кн. 14, с. 292]. Ясно, что последнюю фразу можно расценивать как поощрение автора к дальнейшим трудам на ниве богословия и защиты православия от западных нападок. Имя Хомякова на какой-то момент стало популярным при дворе, А. Д. Блудова и А. Н. Попов принялись зазывать его в столицу.

А Хомяков, фактически получив высочайшее одобрение на публикацию сочинений о православии в обход как гражданской, так и духовной цензуры, продолжил работу и опубликовал за рубежом другие произведения богословского характера в 1858 и 1860 гг. Однако он продолжал подписывать их псевдонимом «Неизвестный». Почему?

Можно догадаться, что, начиная с первого выступления за рубежом, Хомяков имел расчет, основанный на логике, подобной приведенному выше высказыванию Я. Толстого: если книга бу-

---

<sup>2</sup> В том, что он говорит о Церкви, он весьма либерален, но в том, что он говорит о ее отношениях к светской власти, он прав, и я с ним согласен.

дет хорошо принята российской властью, то это может вернуть автору свободу печататься, если вызовет недовольство правительства, можно будет укрыться за псевдонимом. Хомяков, в отличие от Тютчева, не был европейским завсегдатаем, не имел отношения к дипломатическому миру, в конце концов, его публикации не вызвали того же ажиотажа, что статьи Тютчева, и ему нетрудно было бы сохранить в тайне свое имя. Но, видимо, он твердо верил в успех книг в России, если допустил, чтобы псевдоним был раскрыт после выхода первой же брошюры. Выбор тематики для зарубежной публикации был не самым опасным для автора. Если бы он решился выступить с опровержением иностранных «сказаний» о российской истории, внешней политике, внутреннем жизнеустройстве, то, с одной стороны, его труд был бы воспринят европейским читателем как сочиненный «по заказу» правительства, с другой — само правительство могло расценить подобную публикацию как попытку несанкционированного толкования действий официальной власти и т. д., что было чревато последствиями. Защита же православия, средоточием которого в XIX в. воспринималась Россия, давала возможность автору защитить национальные интересы и в то же время не раздражать правительство, а при наилучшем исходе — даже частично реабилитировать перед властями свое творчество.

Когда лучшие прогнозы Хомякова действительно оправдались, маска «Неизвестного» все же имела смысл, но уже лишь на бумаге: указывала на принадлежность публикаций одному автору и сохраняла видимость приличия при нарушении писателем цензурной повинности.

**«Партизаны» и власть.** Пожалуй, изложенные подробности могут навлечь на Хомякова скорострительное обвинение в конформизме. Однако такое суждение было бы несправедливо. Во-первых, противоречия между западной и восточной церквями действительно были для него темой животрепещущей. И особое значение он придавал тому, *как* и *кем* будет представлено православие в Западной Европе. В 1840-х гг., критикуя труд московского митрополита Макария «Введение в православное богословие», Хомяков писал А. Н. Попову: «Стыдно будет, если иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего православного богословия <...>» [248, с. 434]. А в 1847 г. Хомяков уже пытался опубликовать в Европе одно из своих богословских сочинений и даже отослал для этого рукопись Жуковскому, согласившемуся оказать содействие [248, с. 439].

Во-вторых, по выражению Лемке, в подобных случаях необходимо учитывать «коэффициент того времени» [278, с. 382]. Хомяков, за которым был учрежден негласный надзор и которому запрещалось печатать свои сочинения, нашел и воспользовался, кажется, единственно возможным поводом и средством обнародовать свои мысли, не покидая при этом Россию. Будущее подтвердило обоснованность такого шага. После смерти Хомякова его полемические богословские сочинения друзья решили перевести на русский язык и издать, но публикация их на русском языке даже и в новых исторических условиях (в 1863 г. в журнале «Православное обозрение») вызвала столь яростное сопротивление духовных властей (обер-прокурора Синода кн. Урусова, ректора Санкт-Петербургской духовной академии архимандрита Иоанна), что журнальные номера были «остановлены». Когда же в 1867 г. Ю. Ф. Самарин готовил к изданию II том собрания сочинений Хомякова, включавший в себя богословские произведения, нападки духовной цензуры вынудили его опять-таки издать этот второй том, в отличие от остальных, за границей (в Праге).

Тютчев живо сочувствовал этому изданию, одно время надеялся, что кончина Филарета «должна необходимо многое изменить в понимании вопроса» [522, с. 426]. Но после смерти Филарета понимание вопроса не изменилось, и в 1868 г. пражское издание богословских трудов Хомякова было запрещено для продажи в России. Тютчев как председатель Комитета иностранной цензуры был вынужден обратиться по поводу «подобного скандала» к обер-прокурору Синода гр. Д. А. Толстому [522, с. 471]. Словом, если бы Хомяков не решился опубликовать богословские рассуждения за границей, он вообще не смог бы увидеть в печати свои работы, ставшие, по выражению П. Бартенева, «целым событием в истории русского просвещения» [521, с. 33].

Был ли у Хомякова иной путь преодоления цензурных ограничений? Быть может, он имел возможность убедить власти в необходимости публикации своих патриотических сочинений? Ответ станет очевиден, если припомнить аналогичные литературные ситуации.

В январе 1846 г. Ф. Булгарин пытался убедить Дубельта в целесообразности открыть в Петербурге газету на польском языке и использовал для этого как раз мотив защиты российского престижа. «Надобно плакать и смеяться, — сообщал Булгарин, — когда слышишь, что поляки говорят и что они за границую пишут

о России, не из злобы, но по неведению, по ложным известиям и предположениям. Непостижимо, что *опровержение* заблуждений насчет России столь же строго запрещено у нас, как и самая ложь! <...> По моему мнению, противу *нравственной силы* надлежало бы действовать *нравственною же силою*; а именно: *правдою* против *лжи* <...>, просвещением против *заблуждений* насчет России» [278, с. 316]. Поскольку Дубельт отнесся к мыслям Булгарина благосклонно, тот уже в феврале 1846 г. пишет новую «Записку», где снова затрагивает проблему борьбы с иноземными мнениями о России. «Когда я хотел напечатать *исторический вывод*, в опровержение чужеземных клевет на государя и Россию, без *всяких споров* с клеветниками, — жаловался журналист, — мне сказано, что не нужно входить с ними в разногласия, а между тем, в то же самое время напечатали в «Journal de St.-Petersbourg» одну из самых *жесточких* выходов противу действий правительства» [278, с. 320]. А в апреле Булгарин отправил в III Отделение новую «Записку», где оседлал все того же конька. «<...> Без литературы нет славы ни для царей, ни для народа!» [278, с. 327] — начинал он запальчиво раздел «Литература и цензура». И завершал его столь же категорично: «Для чести и славы России, для успокоения общего мнения, для уничтожения справедливых, в этом отношении, насмешек иностранцев и русских, — надобно составить цензуру из людей, достойных облагородить это звание <...>, позволить писателям, как говорится, *перевести дух* и писать обо всем свободно <...>» [278, с. 330]. Если отвлечься от того обстоятельства, что указанные записки Булгарина выполняли роль доносов и требовали свободы слова в первую очередь для самого Булгарина, то процитированные мысли можно отнести к вполне справедливым. Чего же смог добиться преданный власти журналист? Его услышали, поблагодарили за откровенность, но польскую газету в Петербурге так и не открыли, а цензурные требования так и не ослабили.

В 1861 г. по тому же пути — внушения правительству аргументов в пользу свободы слова — пошел Погодин. Опасаясь, что цензура не пропустит его статью о Сперанском, Погодин снабдил ее предисловием, где пояснял, насколько важно доверить русским литераторам трактовку российской истории. «Русские только могут доставить иностранцам материалы для их соображений и умозаключений, для Науки, — настаивает Погодин. — Без русских в этом случае иностранцы шагу ступить не могут, обречен-

ные на вранье, которое мы беспрестанно и слышим, когда речь пойдет о России и ее отношениях. Чем же мы можем остановить их вранье? Доставлением им верных сведений. А если мы будем молчать, так откуда же им взять истины, и чем они будут виноваты? Виноваты будем мы перед лицом Науки, Истории, перед лицом Европы <...>, если будем продолжать молчать ввиду мнимых опасностей <...>. Неверные показания <...> из века в век сделаются источником ошибок» [45, кн. 18, с. 404]. Весьма убедительный пассаж. Тем не менее... Статья Погодина о Сперанском смогла проникнуть в печать лишь через 10 лет после написания.

В 1863 г. Погодин подготовил к печати сборник своих работ об отношениях России и Польши. В предисловии он снова пытался убеждать: «Вся европейская печать кишит статьями о Польском вопросе. Неужели молчать должны только мы, русские, до которых он больше всех касается? Нет, европейцы должны узнать наше мнение, должны принять на свои веса наши доказательства. Весы их, мы знаем, кривы, не верны, когда дело касается предметов, приносящих пользу или причиняющих вред России, которая до сих пор представляется в их воображении каким-то грозным призраком, но все-таки мы должны говорить хоть для немногих <...>» [425, с. I]. Что ж, и это сказано весьма убедительно. Однако... Сборник оказался в печати лишь через пять лет.

В 1857 г. Тютчев направил кн. М. Д. Горчакову письмо «О цензуре в России». Он сравнивал российскую цензуру с «истинным общественным бедствием» [523, с. 331], убеждал, что заграничным выступлениям русской оппозиции можно противопоставить лишь отечественный орган, имеющий широкую свободу тематики и суждений. Но вот со следующего 1858 г. Тютчев сам становится чиновником от цензуры и, кажется, перестает верить в возможность скорого изменения цензурных правил. Во всяком случае, когда в 1869 г. начальник Главного управления по делам печати М. Н. Похвистнев пообещал монаршую милость чиновникам иностранной цензуры, Тютчев после слов благодарности разочарованно спрашивал: «Не удостоится ли если не милостей, так помилования и русская печать, которая в сложности не худо, право, служит русскому делу?» [522, с. 536] А когда в 1873 г. в «Русском архиве» появилось в русском переводе письмо «О цензуре в России», Тютчев отметил, что его мысли 15-летней давности нисколько не утратили актуальности [524, т. 2, с. 359].

Таким образом, ясно, что все попытки Хомякова опубликовать свои работы в защиту православия легальным путем в России были бы обречены либо на провал, либо на проволочки, которые могли длиться десятилетиями. У Хомякова в запасе этих десятилетий не было — в конце 1860 г. он умер.

Итак, печатно отвечать за границей на иностранные суждения о России было делом непростым, но все же возможным. И парадокс в том, что официальные власти, с одной стороны, не признавали за российскими авторами права на публичные выступления, а с другой — могли за подобное выступление не только простить ослушника, но даже и поощрить его. То есть, литератору приходилось полагаться не на всеобщий и четкий закон, а на свою интуицию, на сочувствие начальства и на удачу. В любом случае литератор, бравшийся защищать российский престиж и нарушавший при этом официальные правила, мог объяснить свое ослушание патриотическим порывом, что оправдывало его, если не в глазах властей, то, по крайней мере, в глазах общества. Логика такого положения вещей проще всего уловить на примере бытовой ситуации, которая тем не менее напрямую связана с ситуацией литературной.

18 февраля 1840 г. Лермонтов дрался на дуэли с атташе французского посольства Эрнестом Барантом и был предан за это военному суду. В обществе циркулировал слух о том, что поединок стал результатом соперничества между Лермонтовым и Барантом за внимание некой особы, а это не сулило опальному поэту никаких поблажек. Ясно, что, даже если слух и был правдив, Лермонтов, подчиняясь требованиям скромности, не мог назвать истинной причины поединка, а потому он сослался на внешний повод: Барант-де оскорбительно отзывался о России, а Лермонтов был вынужден защищать национальную честь. Своему непосредственному начальнику командиру лейб-гвардии Гусарского полка Н. Ф. Плаутину Лермонтов объяснял дело в следующих выражениях: «<...> На колкий его (Баранта. — *В. О.*) ответ я возразил такой же колкостью, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы как кончить дело; тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно. Он меня вызвал <...>» [279, т. 4, с. 418]. Для гвардейского командира подобный аргумент был неотразим: Лермонтов защищал честь русского мундира. Аргумент этот возымел действие и

на ход следствия, которое стало склоняться на сторону Лермонтова. Сведущие люди уверяли бабушку поэта, что «участь внука будет смягчена, потому что “свыше” выражено удовольствие за то, что Лермонтов при объяснении с Барантом вступился вообще за честь русских офицеров перед французом» [284, с. 192]. По всей видимости, участь Лермонтова была бы действительно смягчена, если бы конфликт с Барантом не получил продолжения.

В литературных ситуациях общество и власть руководствовались теми же самыми соображениями: «несанкционированный» ответ иностранцам считался ослушанием, но ослушанием почетным, достойным уважения и смягчения наказания. Примечательно, что в биографии Лермонтова до поединка с Барантом уже была подобная «литературная» ситуация в связи с делом о стихотворении «Смерть поэта». К следствию был привлечен близкий друг Лермонтова, активно распространявший это стихотворение, С. А. Раевский. Судя по его показаниям, он всячески старался обелить Лермонтова, для чего предлагал свою интерпретацию событий: все зло стихотворения заключается в том, утверждал он, что Лермонтов допустил «выходку против лиц, не подлежащих русскому суду — дипломатов и иностранцев». Случай, подтолкнувший Лермонтова на этот шаг, Раевский изображал так: «К Лермонтову приехал брат его камер-юнкер Столыпин (Н. А. — В. О.). Он отзывался о Пушкине невыгодно, что он себя неприлично вел среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил. Лермонтов <...> и половина гостей доказывали <...>, что даже иностранцы должны щадить людей замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили два государя <...>. Столыпин <...> в особенности настаивал, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина <...>, что Дантес и Геккери, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому» [445, с. 484]. Раевский вполне естественно изобразил сцену типичного разговора в российском обществе о необходимости защищать национальную славу от иностранного посягательства. А дабы еще сильнее акцентировать внимание на желании Лермонтова защитить русский престиж, Раевский сообщал еще об одном факте. «Лермонтов не равнодушен к славе и чести своего государя, — заявлял он. — Услышав, что в каком-то французском журнале напечатаны клеветы на государя императора, Лермонтов в прекрасных стихах обнаружил русское негодование проти-

ву французской безнравственности, их палат и т. п. <...>» [445, с. 485]. Заметно, что Раевский, по сути, формулирует ту версию событий, которую власти могли бы принять в качестве официальной, если бы Лермонтова решили помиловать. Однако у правительства, как известно, версия событий была собственной, и никто не захотел увидеть «выходку против иностранцев» там, где звучало обвинение против соотечественников.

Однако заметим, что самому Раевскому его аргумент, по-видимому, казался убедительным. Так же, как позднее обществу и даже государю, вполне убедительным показалось то объяснение, что Лермонтов дрался на дуэли из желания защитить престиж отечества. Почему? Кажется, только по той причине, что защита России от иностранных оскорблений и клеветы была действительно делом весьма распространенным и осуществлялась обычно как раз помимо официальных циркуляров и разрешений. Русские литераторы, прошедшие Отечественную войну либо воспитанные на рассказах о ней, воспринимали защиту русского престижа на печатном фронте как некое продолжение памятных баталий, когда честь России отвоевывалась в открытом поле. А потому литераторы переносили в литературу те тактические приемы и мировоззренческие установки, которые были выработаны русским обществом еще в 1812 г.

**Партизаны 12 года в литературных баталиях.** Такое заявление может показаться слишком метафорическим, но обратимся к конкретному примеру. Военная судьба партизана Д. В. Давыдова общеизвестна. Попробуем взглянуть на факты литературной деятельности Давыдова в ретроспективе его боевого прошлого.

«Как военный человек я все представляю себе в военном виде», — признавался Давыдов П. Д. Киселеву в 1819 г. [157, с. 233]. Мирная жизнь, которую после Французской кампании 1814 г. некоторое время вел легендарный поэт-партизан, гарантировала ему личную безопасность, но не защищала от нападений его собственную заслуженную репутацию и престиж русского оружия. Поскольку «официальная» литература не могла в должной мере защитить от иностранных посягательств ни его самого, ни славу русского воинства, Давыдов, как и в 1812 г., проявил личную инициативу и начал противодействовать «нашествию» иностранных мнений. В 1825 г., взявшись за литературную «оборону» российского имиджа, Давыдов выступил с опровержением мнений бывшего достославного своего противника Наполеона, в за-

писках которого было заявлено, будто действия партизан в 1812 г. имели слабый эффект. Давыдов посвятил этому вопросу отдельную брошюру, где четко определил цель своей борьбы и отношение к противнику. «Слова, падшие с такой высоты, — писал Давыдов в рыцарском тоне о заявлениях полководца, — не суть уже шипение раздраженной посредственности <...>. Это удары Юпитера; звук их может увековечиться в общем мнении, как увековечились в нем все те ложные предания, кои равнодушие людей поленилось исследовать <...>. Я один из обвиняемых. Честь вооружает меня против нареканий ужасных, сокрушительных, может быть, неотразимых» [158, с. 281]. И далее Давыдов хладнокровно и прицельно наносил точные, подкрепленные силой фактического знания удары по наполеоновским и другим ложным европейским суждениям о ходе Отечественной войны. «Читатель решит, на чьей стороне правда, — возвращался он снова к возвышенно-рыцарской риторике в завершение своего труда, — но во всяком случае, он, конечно, отдаст мне справедливость в том, что, русский, я не забыл приличия и вежливости в выражениях, опровергая сказания того, коего память бесстыдно тревожима некоторыми соотечественниками, сослуживцами его и даже людьми, им благодетельствованными!» [158, с. 309].

Заметно, что Давыдов столь же дорожит своим авторским имиджем, сколь некогда дорожил своим имиджем российского военного, когда демонстрировал в освобождаемой Германии собственную учтивость и дисциплину в своем отряде, дабы «немцы <...> получили выгодное представление о нашем образовании» и «ожидали с восторгом» [157, с. 100] прихода основной части российских войск. Теперь же, автор, перенесший в область литературы нормы воинского этикета, должен был вызвать симпатию и отечественного, и европейского читателя, уловившего благородные повадки русского гусара. В «Московском телеграфе» П. А. Вяземский рекомендовал брошюру Давыдова так: «Начав свои партизанские подвиги против Наполеона-завоевателя, автор <...> продолжает их против Наполеона-повествователя. Он ловит его в некоторых отступлениях от истины <...>» [115, с. 397].

После этого Давыдов принимал участие в военных действиях в Персии (1826) и Польше (1831), но в 1835 г. снова обратился к литературной защите российских интересов и снова — с применением военного взгляда на вещи. В 1835 г. в «Библиотеке для чтения» он поместил статью «Мороз ли истребил французскую

армию в 1812 году?». Давыдов четко указывал «противника» и цель своего очередного выпада. «Все враги России, все союзники Франции, впоследствии предательски на нее восставшие, — заявлял он, — <...> неумолимо хлопотали и хлопочут о рассеивании и укоренении в общем мнении этой ложной причины торжества нашего».

Далее фразы напоминали обращение полководца к войскам перед битвой, когда он должен указать солдатам причину зла, пагубность его существования и вдохновить воинов на борьбу с этим злом. «<...> Во Франции возник зародыш этого разглашения <...>, — убеждал читателей легендарный боец. — Надутая двадцатилетними победами, завоеваниями и владычеством над европейскими государствами, могла ли Франция простить тому из них, которое без малейшей посторонней помощи <...> отстояло независимость свою <...>? Нации этой ли, исполненной самолюбия и самохвальства, преследуемой порицаниями и <...> карикатурами и насмешками, более всего для нее несносными, ей ли можно было признаться в истинной причине несостоятельности своей <...>?»

Поскольку Давыдов занимал позицию не наступления, а обороны национальных интересов, ему следовало объяснить, почему до сих пор оружие противника (в данном случае пропагандистское оружие) было счастливее отечественного. Вероятно, с подобным пафосом в 1812 г. он разъянял своим подчиненным временные успехи наполеоновской армии. «<...> Обладая монополией словесности, проникающей во все четыре части света, завоеванные ее наречием <...>, — восклицал Давыдов, — она (французская нация. — *В. О.*) более других народов могла ввести в заблуждение и современников и потомство насчет приключения, столь жестоко омрачившего честь ее оружия! Будем справедливы; какая нация решилась бы на пожертвование такого преимущества, какая нация, напротив, не поддержала бы посредством его и кредита своего в общественном мнении <...>».

Здесь снова сказывается привычка Давыдова понимать и ценить противника. На сильные стороны врага бывший партизан указывает уважительно, но бесстрашно и продолжает: «Франция не пренебрегла этого преимущества и похвально сделала: священный долг всякого народа — дорожить своим достоинством, спасать и защищать всеми мерами и всеми средствами это нравственное бытие свое, неразрывно сопряженное с его бытием вещественным».

Но как же вдохновить на борьбу воинов, когда враг, по признанию самого оратора, столь силен и удачлив? Будь у нас под рукой собрание речей прославленных полководцев, и мы легко заметили бы, что в подобных случаях всякий из них апеллировал к чувству национальной гордости. Так же поступал и Давыдов. «Похвально ли для некоторых из нас, — взывал он к соотечественникам и соратникам, — еще более для тех из нас, русских, которые, быв свидетелями, даже действовавшими лицами на этом великолепном позорище, знают истинную причину гибели нахлынувших на нас полчищ, — похвально ли им повторять чужой вымысел для того, чтобы не отставать от модного мнения <...>. И пусть бы разглашали это городские господчики или маменькины сынки <...>. Но грустно слышать эти же слова от тех самых людей, которым известны и чугун, и свинец, и железное острие <...>» [158, с. 408].

Итак, Давыдов снова ощущал себя, как на войне: он снова шел в бой по собственной инициативе, снова выбирал тактику по собственному разумению, а у противника снова было больше средств к победе, чем у него. Завершив «военно-психологическую» подготовку читателя, Давыдов начинал «дело». И теперь уже не было места для патетики и лишних эмоций; он хладнокровно и терпеливо разбирал иностранные аргументы, изучал точки зрения зарубежных авторов и, обнаруживая слабые места в их рассуждениях, противопоставлял беспочвенным мнениям твердые факты. Порою он брал себе в союзники кого-либо из французского лагеря и таким образом опирался, например, на свидетельство генерала Жомини, который не соглашался с мнением Наполеона, будто французская армия была погублена исключительно российскими холодами [158, с. 412]. Давыдов готов признавать правоту противника, но точно так же — готов восставать против каждого необоснованного слова, произнесенного в ущерб заслуженной русской славе.

Ход литературного поединка, кажется, удовлетворил Давыдова и придал ему уверенности в собственных силах. Статью он завершал тоном человека, готового к продолжению борьбы. «На все, сказанное мною, — гордо бросал он противнику, — не опасуюсь возражений, — вызываю их; бросаю перчатку: подымай, кто хочет!» [158, с. 412]. И он продолжил борьбу в следующем же 1836 г. В связи с неудачей французской колониальной армии Давыдов начал статью «Мысли при известии о неудачном предприятии на Константину французских войск».

Суть работы сводилась все к тому же: автор опровергал неверные суждения иностранцев о России. Стремясь понять причины европейского предубеждения, Давыдов возмущенно замечал тенденцию, овладевшую зарубежной историографией и литературой: «<...> Восхвалять и превозносить <...> Францию и Англию, первую — за завоевания почти всей Европы, а вторую — за основание колоний во всех пяти частях света и самодержавие владычества ее на всех морях; прославлять Наполеона и его маршалов за их военные подвиги, а за подобные же подвиги злословить русский народ, русскую армию, Петра, Екатерину, Александра, Суворова, Кутузова! В настоящее время французы <...>, покорившие почти всю северную часть Австралии, восстают на нас за покорение Варшавы, Крыма, некогда кровных врагов наших <...>» [157, с. 133]. Отчего возникают подобные «двойные стандарты» в оценках европейских ученых и литераторов? Для Давыдова ответ был очевиден. «Успехи России на пути просвещения и всемирного владычества, — объяснял он, — слишком заметны, и потому, не будучи в состоянии отрицать их, они довольствуются описанием неудач и невежественных проступков в эпоху юношеского возраста России».

Задачу своей статьи Давыдов ограничивал военной тематикой: «Не имея намерения опровергать нелепые их сказания и суждения насчет политического и гражданского устройства России, я укажу лишь на искажение некоторых славных подвигов нашего войска» [157, с. 134]. И он действительно взялся за разоблачение «нелепостей» и «гнусных клевет» насчет Потемкина и Суворова, но... статья осталась незавершенной. По какой причине — неизвестно. Однако можно предположить, что Давыдов решился несколько изменить свою тактику. «К крайнему прискорбию, — подытоживал он свои рассуждения, — мы почти без возражений выслушиваем пасквили чужеземных писателей; литература наша доселе скудна описаниями жизни людей, коими Россия вправе гордиться» [157, с. 140]. Из этого можно было сделать вывод: на чужеземные пасквили следует отвечать не частными репликами, а широким литературным воплощением отечественной истории. Кстати скажем, что к такому же заключению приходил и другой участник Отечественной войны Ф. Н. Глинка, который утверждал, что «русский историк, описав, как должно, войну 1812 года, преисполнит чуждые народы благоговейным почтением к великому Отечеству нашему <...>» [133, с. 204]. Вероятно,

Давыдов уже убедился, что отдельные столкновения с иностранными оппонентами и споры по мелочам, как бы изобретательно и виртуозно они ни велись, не могут переломить ситуацию в корне. Он обращал внимание, что даже некоторые соотечественники перенимают иностранные мнения о российской истории. Да и в самом деле, что же они могут противопоставить чужеземным сказаниям, если собственная русская литература «доселе скудна» описаниями героических времен отечества?

Давыдов был как раз тем человеком, который мог хоть отчасти восполнить этот пробел. Он ощущал литературную востребованность своих воспоминаний, сознавал, что эти воспоминания могут стать наиболее эффективным аргументом в «печатной войне» против «нашествия» ложных интерпретаций российской истории. Причем, думается, Давыдов осознал это ранее 1836 г. Во всяком случае в сентябре 1835 г. он рассказывал в письме племяннику А. В. Суворова и небезызвестному литератору Д. И. Хвостову, что отечественная историография почти не располагает источниками о жизни знаменитого полководца, как, впрочем, и зарубежная. «Лавернова История, — замечал он, — не история, а панегирик, Антингова — далеко неудовлетворительна, Фуксова история Итальянской кампании ни на что не годится. <...> А грустно! В кои-то веки наделил нас бог гением самобытным, и мы от преступного равнодушия ко всему собственному лишаем отечественную историю блистательного украшения. Еще двести или триста лет вперед, и какой-нибудь новый Нибур или Полевой скажет, что Суворова не было, что Суворов миф, означающий военный период России<...>» [157, с. 201–202].

Свои воспоминания о военных действиях и русских военачальниках Давыдов начал публиковать в «Библиотеке для чтения» еще в 1834 г. В работе находился «Дневник партизанских действий 1812 года», начатый еще в 1814 г. и законченный лишь в 1838. К мемуарной деятельности Давыдов снова же отнесся, как к делу вполне военному. Когда Пушкин предложил ему участвовать в «Современнике», Давыдов отвечал (6 апреля 1836 г.) в привычном стиле: «Рассчитывай на меня; я под твоим начальством лихо буду служить» [157, с. 215]. А когда вскоре цензура изрядно покромсала его статью «Занятие Дрездена», Давыдов снова же отнесся к этому с позиций боевого опыта. «Как бы то ни было, — писал он Пушкину о своей искалеченной статье, — но эскадрон мой, опрокинутый,

растрепанный и изрубленный саблею, прошу тебя привести в порядок; надо убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с оставшимися всадниками «ура!» и снова в атаку!» [157, с. 222]

Не изменил Давыдов и своему благородству в отношении к противнику. Наполеон оставался для бывшего партизана военным авторитетом, и нападки на него даже русских историков Давыдова откровенно раздражали. В ноябре 1836 г. он писал А. С. Пушкину по поводу обзора кампании 1814 г., составленного А. И. Данилевским: «Но неужели нельзя хвалить русское войско без порицания Наполеона? <...> Все эти выходки Данилевского для чего? Для того, чтобы поравнять в военном отношении Наполеона с Александром; будучи не в состоянии возвысить последнего до первого — он решился унижить первого до последнего <...>» [157, с. 211]. Между прочим, объективная позиция Давыдова была оценена во Франции. В 1828 г. журнал «Revue Encyclopédique», анализируя брошюру Давыдова «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона», называл русского партизана автором «столь же беспристрастным, насколько и ревностным к славе своей страны», отмечал, что Давыдов «сохранил все приличие и достоинство, какого можно было ожидать от человека, способного оценить военные заслуги, который, благодаря своему уму и талантам, сделался настолько же известным в обществе, как и на полях битвы» [157, с. 219–220]. Добавим, что Давыдов, кроме того, умел оценить и похвалу противника, добытую в борьбе, пускай даже и печатной борьбе. Этот отзыв французского журнала он сохранил и в 1836 г. сообщал его тогдашнему историку славной эпохи 1812 г. А. И. Михайловскому-Данилевскому, сообщал — не без гордости и, наверное, не без умысла повлиять на суждения Данилевского о Наполеоне.

«Имя мое во всех войнах торчит, как казацкая пика» [157, с. 203], — писал Давыдов в осень 1835 г. Н. М. Языкову. Не известно, имел ли в виду Давыдов и ту печатную кампанию, которую он вел против иностранных «сказаний» о героическом прошлом России, но, кажется, он с чистой совестью мог бы вписать ее в свой послужной список. Во всяком случае в общественном сознании современников Давыдов воспринимался не только как военный, но и как литературный боец. И стихотворное обращение к нему П. А. Вяземского: «Ты саблю с лирой сочетал, / Двойным в двух ратях партизаном / Ты стих и крест завоевал» [114, с. 401] — как нельзя лучше соответствовало имиджу и заслугам поэта-партизана.

Но может быть, военные «ухватки», привнесенные Давыдовым в литературу, были явлением столь оригинальным, что не могут претендовать на обобщенное восприятие?

Не похоже, поскольку почти всякий русский литератор, принимавший участие в Отечественной войне, формировал свой литературный имидж в соответствии с почетным званием ветерана 1812 г. и в соответствии же с этим званием вырабатывал свою литературную и общественную позицию, тактику ведения диалога. Когда, например, в 1858 г. А. А. Гаярцов выступил с критикой русских эпизодов в историческом исследовании Тьера, то назвался «человеком 1812 года», а свою полемику напрямую отождествлял с боевыми действиями, где имели место свои «рекогносцировка», «осада» и «выстрелы» [124, с. 1–5].

А может быть, гусарский пафос, военная риторика и рыцарская поза Давыдова — это лишь колоритные манифестации собственной причастности к героическому прошлому отечества, рассчитанные на внешний эффект?

Нет сомнений, имидж Давыдова действительно был эффектен, импонировал читателю, и более того, Давыдов это сознавал и этот оригинальный имидж поддерживал, кажется, легко и с удовольствием. Но с уверенностью скажем, что выгоды красочного имиджа играли в данном случае далеко не первостепенную роль. Литературная позиция Давыдова на самом деле имела множество соответствий с его положением на театре войны. Он и в литературе, как на войне, был удачливым новатором, точно так же действовал сам-друг с собой, так же страдал от начальства-цензуры и в конце концов снова же боролся за престиж своего отечества. А дабы подтвердить, что эта позиция Давыдова не была чудачеством человека, привыкшего жить воспоминаниями, напомним, что точно в таком же положении оказывались и другие русские литераторы. Наиболее показательна в этом отношении деятельность П. А. Вяземского.

Оказавшись в пору Крымской кампании за границей, Вяземский начал выступать в европейской печати в защиту России. Именно в ту эпоху Вяземский дал себе в «Литературной исповеди» такую характеристику: «В литературе я был вольным казаком» [114, с. 335]. Кажется, это напрямую связано с его вступлением в русско-французскую пропагандистскую войну. Когда в 1854 г. в «*Indépendance Belge*» оказалось опубликованным его стихотворение «Вот в воинственном азарте...», направленное против

Луи-Наполеона, Вяземский отметил в записной книжке: «Право, я заслуживаю георгиевский бумажный крест за мои партизанские наезды в журналы» [114, т. 9, с. 114]. А когда в марте того же года в «*Journal de Francfort*» появилась одна из его статей, Вяземский писал Северину: «Угадали ли, что это аз грешный и недостойный кидаюсь на борьбу не на живот, а на смерть <...>; у меня еще изготовлено несколько подобных статей и зачаты другие <...>. Жаль, что из того прока не будет и никого не вразумлю. Но каждому дан здесь свой удел и свое орудие, мне дано перо, и валяй!» [114, т. 9, с. 117].

Однако западные журналы далеко не всегда готовы были поддерживать патриотизм Вяземского, и «партизанские наезды в журналы» не всегда увенчивались удачей, поскольку статьи его порою встречали, по выражению П. Бартенева, «негостеприимный отказ» [114, т. 6, с. VII]. Тогда, как помним, Вяземский сменил образ действий и издал свои статьи в Лозанне отдельной брошюрой на французском языке, которую назвал «Письмами русского ветерана 1812 г.». В самой брошюре постоянно возникали параллели с Отечественной войной. Подобно Давыдову, Вяземский, например, оспаривал то мнение, что именно морозы погубили французскую армию в 1812 г. «Странная земля наша Россия, — подмечал он, — иностранцу никогда не рассчитать, где и когда наступит для него зима, и всякий раз он подвергается опасности, что какая-нибудь зима окажется для него помехою» [114, т. 6, с. 422]. Он сравнивал тяжелое положение англичан в Крыму зимой 1854–1855 г. с гибельным отступлением французов из Москвы и т. д. и т. п. Но главное, что Вяземский в атмосфере окружавшей его политической и публицистической истерии взял самый что ни на есть боевой тон, который чем-то напоминал манеру С. Глинки времен противостояния с Наполеоном I. Нечего говорить, что Вяземский имел довольно художественного чутья и опыта, чтобы понять, насколько смешным мог бы показаться этот запальчивый тон в мирных условиях. Но Вяземский ощущал себя в условиях войны и действовал в соответствии с обстановкой.

«Несомненно, что Европа мало и очень поверхностно знает Россию, — начинал Вяземский одно из своих “Писем”. — Частью недоброжелательство, частью бессилие понимания ограничивают ее сведения об этой стране тесным и неисходным кругом предвзятых понятий, глупых пошлостей, нелепых предубеждений». Сказано остро, однако пока автор в позиции обороны. Но вот сле-

дующая фраза: «Чтобы заставить умного англичанина или француза сказать глупость, нужно заговорить с ним о России: это такой предмет, от которого они пьянеют, и разумение у них тотчас мутится» [114, т. 6, с. 422] Ого! Да это уже прямое нападение на оппонентов! Нехорошо? Отчего же? «На войне — как на войне», — говорят в таких случаях французы.

Публикуя брошюру, Вяземский скрылся за псевдонимом P. d'Ostafievo. Уж явно не потому, что боялся понести за свои высказывания ответственность перед кем бы то ни было. Псевдоним был вполне прозрачен: Остафьево — подмосковное имение Вяземского. Он имел точно тот же смысл, что и псевдоним Хомякова в его полемических брошюрах: ограничивал фигуру автора от официальных российских властей. Это и в Европе возбуждало к брошюре большее доверие, и в России избавляло от риска получить нареkanie от правительства, в случае если Вяземский напишет что не так.

«Будучи неизвестным писателем в области полемики, как был и неизвестным воином на Бородинском поле, — писал Вяземский, — автор теперь, как и тогда, отдает себя всецело делу народному и готов жертвовать собою» [114, т. 6, с. 487]. Это не просто патетическая фигура. Вяземский знал, что резкость его брошюры может вызвать гнев европейских оппонентов, у которых, конечно, больше способов склонить на свою сторону общественное мнение. Знал он и то, что, хоть в случае удачи, хоть в случае поражения, ему вряд ли удастся дожидаться награды от российских властей. Но знал и то, что подобно ему, «партизанские наезды в журналы» осуществляли столь же бескорыстно и другие русские, например, Тютчев или Хомяков. И не случайно эпиграфом к своей брошюре Вяземский взял цитату из полемической брошюры последнего «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях», опубликованной, как уже говорилось, в 1853 г. в Париже.

Напомним, что поначалу Вяземский опасался, что его «партизанские наезды» не будут иметь большого эффекта, однако после «боевого опыта» он, кажется, убедился, что тактика партизанской борьбы в литературе имеет большие перспективы. А потому, когда в дальнейшем он уже служил по цензурному ведомству, пытался противодействовать новым литературным «партизанам», убеждений которых он не разделял (скажем, А. И. Герцену, М. А. Бакунину и т. д.). «Вопросы, вытесненные из печатной литературы

<...>, — предрекал он в 1857 г., — свободным разливом вторгнуться в рукописную литературу и в контрабандную литературу заграничных русских печатных станков. <...> Она проникнет к нам, разольется у нас в тысяче видах. Русская литература перенесется за границу и совершенно отрешится не только от надзора, но и от влияния правительства <...>» [114, т. 7, с. 46]. Так и случилось: официальная машина пыталась соперничать и бороться с «партизанами», в России разрабатывались планы «правильной» войны и с общественным мнением Европы, и с собственными бойцами, вышедшими из подчинения правительству, пробовали организовать силы русской литературы и употребить их «на услуги правительству» [533, с. 677], да только «партизанская война» русской литературы имела все больший успех и на европейской, и на российской территории.

Но отвлечемся от метафор, чтобы постоянное сравнение междуплитературного диалога с военными действиями не навлекло на русскую литературу обвинений в агрессивности. И в заключение вернемся к той мысли, что основная часть деятельности русских литераторов по защите российского престижа перед судом европейских мнений, по пропаганде российской культуры в Европе осуществлялась помимо, а зачастую и вопреки российским властям. Результаты этой деятельности оценить трудно, они в конечном итоге оказались весьма обширны. А потому не станем перечислять все случаи устных и печатных споров о России между российскими и французскими литераторами, не станем подсчитывать общий объем материалов о России, опубликованных во Франции российскими литераторами. Мы не ставим перед собой статистических задач.

**Результаты «партизанских наездов».** И все же кажется не лишним предложить читателю некую иллюстрацию того, как выглядел не выдающийся, а самый что ни на есть обычный результат усердия российских литераторов в стремлении познакомить Францию с Россией. Для этого просмотрим несколько номеров парижского журнала «Revue Encyclopédique», допустим, за 1822 г. Поскольку журнал этот был благожелательно и с интересом настроен к России, в 1820-х годах материалы в него передавали многие русские литераторы, среди которых, например, П. А. Вяземский, Я. Н. Толстой и др. Однако, кто из русских сотрудничал в «Revue» именно в 1822 г., сказать трудно, авторство большинства публикаций из России обозначено лишь отдельными буква-

ми. Доподлинно можем сказать лишь то, что под псевдонимом «S. P.» шли материалы С. Д. Полторацкого.

Открываем апрельский номер «Revue Encyclopédique». В разделе «Научные и литературные новости» автор, скрывшийся за литерой «Е», сообщал, что русский император, «желая, чтобы преступники, рано или поздно испытывшие раскаяние и перерождение, могли вернуться в общество (даже в случае их высылки на поселение в Сибирскую провинцию) и не имели беспрестанного напоминания об их преступлениях в виде клейма, на которое были осуждены <...>, навеки упразднил клеймение, на которое до сих пор было заведено осуждать преступников наравне с наказанием кнутом» [591]. Далее в том же разделе печаталось сообщение некоего Николо Пуло о представлении греческого театра в Одессе, имевшем успех [606].

В мае журнал вовсе не поместил сведений о России, если не считать рецензию на книгу находившегося на российской службе Гаспара Друвиля «Путешествие в Персию» [593]. Зато информация о России появляется в следующем, июньском, номере, хотя и публикуется без подписи. Поначалу парижскому читателю рассказывается о медицинских опытах некоего врача Московского госпиталя Марочетти, а потом приводятся сведения следующего содержания: «Исходя из недавно появившейся статистической таблицы России, население этой обширной империи, составляющей 298.950 квадратных миль, достигает 40.067.000 душ; количество ее фабрик и мануфактур — 3.724; капитал, задействованный в торговле, согласно купеческим декларациям, — 319.660.000 рублей; наконец, сумма доходов от подушной подати и винного сбора достигает 169.350.000 рублей» [609]. Затем следовал перечень журналов, издававшихся в Петербурге на русском языке.

В июле информация о России была еще обширней. Прежде всего, журнал поместил рецензию на брошюру французского эмигранта, жившего в Крыму, Шарля Монтандона «Записка об открытии Керченского порта в Крыму на Черном море»<sup>3</sup>: «Керченский порт находится в подчинении Одессы. Город расположен у подножия гряды холмов, самый высокий из коих сохраняет имя *Митридатова престола*, неподалеку от древних руин *Пантикапея* на *Босфоре Киммерийском*, на полуострове, ко-

---

<sup>3</sup> Авторство установлено по указателю А. А. Непомнящего [339, с. 702].

торый соединяется с Крымом *Феодосийским перешейком*. Этот полуостров обладает превосходным плодородием; на его тучных пастбищах пасутся стада овец, называемых астраханскими, и табуны лошадей. В проливе и в Азовском море весьма обилён промысел осетра; ещё одно достояние этих мест — соляные копи; здесь хорошо растут виноград и каперсы; целебные и обильные воды способствуют приятности жизни как в городе, так и в его окрестностях. Сей город, представляющий новые коммерческие ресурсы, достоин внимания также путешественников, коллекционеров и ученых. Кроме того, что европейцы обнаруживают здесь новую для себя природу, животных и растения, которые не встречаются в иных местах, знатоки сумеют собрать здесь большую жатву, исследуя развалины и памятники древности и средневековья» [592]. Сверх этого, журнал поместил ещё и отдельную заметку «Россия», подписанную литерами «Ph. G.», следующего содержания:

**«Харьков.** — *Промышленность*. Недавно в этом городе принят счастливый опыт разведения шелковичных червей.

**Таврида.** — *Возведение нового города*. — В Мелитопольском уезде у реки Оботижны, впадающей в Азовское море, основан торговый город, названный *Ногайском*. Все желающие обосноваться там на восемнадцать лет освобождаются от налога.

**Крым.** — **Одесса.** — *Статистика*. — Этот город, в котором в 1792 г. не было видно ни одной лачуги, ныне насчитывает 40 000 жителей: русских, немцев, французов, греков, евреев, американцев, поляков. Имеется французский и итальянский театр. Основанный герцогом Ришелье лицей предоставляет образование. Наконец, имеются школы права, навигации, торговли и т. д. Восемь церквей, две тысячи домов и множество общественных зданий составляют город, порт которого имеет две версты в длину. Летом в Одессу приезжает множество семейств из Южной России и Польши, поскольку морские ванны здесь весьма целебны; население в окрестностях продолжает размножаться.

**Кафа.** — *Библейское общество* водворилось в сем городе; оно распространяет среди американцев, русских и казаков громадное количество экземпляров Нового завета. — *Познавательное учреждение*. — В этом городе основан музей древностей, вмещающий предметы, найденные в округе. Несколько мечтателей неистово желают обнаружить гробницу Митридата

в нескольких лье от Кафы. Паллас уже рассказал в своем путешествии (Петербург, 1796) о богатстве таврических древностей; но собранная им жатва позволяет и далее черпать их. В Кафе построен греческий театр, публичная библиотека и выращивается ботанический сад». Сверх этих южных новостей автор общал и столичную информацию: «Русское правительство имеет проект не допускать более иностранных профессоров в университеты и прочие учреждения народного просвещения и представить все кафедры местным жителям, хотя образование там и не настолько развито, насколько это необходимо». Ну, и как было обойтись без такого, например, сообщения: «Император издал указ, цель которого — смягчить в будущем участь преступников, закованных в кандалы. Отныне кандалы будут надевать лишь на ноги мужчинам, но никогда — женщинам; женщинам будут надевать только легкие наручники на время транспортировки. Несовершеннолетние преступники обоего пола будут освобождены от ношения кандалов до тех пор, пока не выйдут из несовершеннолетнего возраста. Общий вес кандалов, надеваемых на мужчин, не будет превышать пяти фунтов. Скобы, облегающие ногу, будут обшиты кожей. Отныне все злочинцы империи, какими бы ни были их преступления, будут закованы в кандалы в соответствии с модой, предписанной этим указом. Министр финансов ассигновал определенную сумму на производство кандалов такого рода для обоих полов в кузницах столицы» [605].

В августе «Revue Encyclopédique» поместил в разделе «Библиографический бюллетень» довольно большую статью о русской литературе, подписанную «S. P.» и принадлежавшую Полторацкому. Причем редакция снабдила публикацию такой оговоркой: «Мы благодарим нашего анонимного корреспондента из Москвы за посылку, которую он изволил нам передать; мы сожалеем лишь о том, что он не представился и лишил нас возможности отвечать непосредственно ему. По нашему последовательному использованию его материалов он увидит нашу заинтересованность сохранить сотрудника столь же достойного и столь же усердного, сколь он кажется способным к распространению просвещения и совершенствованию наук и литературы». Любопытно, действительно в редакции не знали имени русского корреспондента или Полторацкий уговорил руководство журнала скрыть его имя, как то сделал в 1824 г.

П. А. Вяземский, получивший предложение сотрудничать в этом журнале? Скорее — последнее<sup>4</sup>.

Как бы то ни было, а парижские читатели узнавали из публикации Полторацкого, что в России существует журнал Каченовского, именуемый «Вестником Европы». «Журнал этот, — сообщал автор статьи, — поначалу посвященный европейским новостям, впоследствии превратился в журнал научный, заслуживающий занимать первое место среди русских периодических изданий». И далее Полторацкий рассказывал об истории журнала и знаменитых авторах, в том числе и французских, печатавшихся на его страницах [610].

Кроме того, в том же, августовском, номере сообщалось, что в Санкт-Петербурге создан «Азиатский музей» [600], и рассказывалось о Харьковском университете [604].

В сентябре «Revue Encyclopédique» поместил очередную статью Полторацкого, в которой он информировал о «Северном архиве» Булгарина и которую мы уже цитировали прежде [611]. В «Научных и литературных новостях» сообщалось, что Библейское общество в Петербурге «издало Евангелие на монгольском и калмыцком языках» [603]. А в «Библиографическом бюллетене» говорилось о только что вышедшей в Париже книге статского советника Бларамберга «Замечание о некоторых древностях, открытых в Тавриде...» [586].

Трудно сказать, кому принадлежали иные из этих заметок: российским литераторам или, возможно, французам, жившим в России. Однако есть основание предположить, что, например, выражение «мода на кандалы» вряд ли принадлежало нашему соотечественнику. Легко также заметить, насколько выделялись на общем фоне публикации Полторацкого, сообщавшего парижанам не о российской «экзотике» в виде кандалов и клеймения преступников, а о литературной жизни Петербурга. Ясно, что публикации Полторацкого не были инспирированы российским правительством, не могли принести ему материальной прибыли и даже не

---

<sup>4</sup> Ф. Прийма доказывает, что С. Д. Полторацкий все же имел впоследствии служебные неприятности из-за своего сотрудничества в «Revue Encyclopédique» [436, с. 301–303]. П. А. Вяземскому удалось сохранить в тайне свою причастность к журналу, но известно, что он передавал редактору «Revue...» материалы о русской литературе, и в том числе текст «Бахчисарайского фонтана» — в 1824 г. [341, с. 308–312].

обещали ему будущей широкой популярностью — это были попытки по собственному желанию и по мере сил бескорыстно поддержать российский престиж в глазах парижан, точно так же, как десять лет назад этот престиж поддерживали и укрепляли российские военные, победоносно прошедшие через всю Европу. Это были все те же «партизанские наезды», без которых, кажется, развитие русской литературы было бы невозможным, как невозможна была без партизанского энтузиазма российская победа 1812 г.